

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

«Всем живущим»

ОН И МЫ

прижизненный друг»

Сегодня с Ним что-то происходит. С Ним всегда происходит что-то. Покуда жил — каждая минута происходящего с Ним и в творчестве, и в жизни отзывалась стованным эхом, становилась многозначным достоянием людей и — парадокс — возвращалась к Нему то гримасой, то улыбкой. Чаще гримасой.

Покуда жил... Вот уже второе столетие Пушкин живет среди нас, изменяясь вместе с нами. Было время — Его почти забыли. Недолгое время. Словатились, запели осану. Перья великих и малых писателей стали оттаивать об Его имя. Речь Достоевского о Пушкине превзошла речь Тургенева о Пушкине? Нет. Это Пушкин Достоевского высветился силой на фоне тургеневского Пушкина. Это Он победил обоих.

Последнее десятилетие времена обожествления, обожания, восторга перед Ним. А дальше революционное литературное большинство сбросило Его «с парока современности». Ну и что? Над Ним даже терновый венец мученика не возник. И, кажется, с парока удалится Он не без удовольствия. Ненадолго. Может быть, надежда Ему словоохотливая, женственная любовь предшествующего десятилетия мира?

Кто знает — Он ведь непредсказуем. Потом Его полюбили официально, роскошно, указующе. Школьно и университетно. Диссертационно и академично. Он оделся в сафьян и ледерин, дерматин и бумажные обложки.

Иногда на торжествах в Его честь я вглядывалась в сомнительно кудрявые изображения над сценой, и мне казалось, Он подмигивает, посмеивается, вообще хочет сбегать.

Сегодня очередное «что-то» происходит с Ним. Несколькими лет назад в литературном мире, четко разделившись на правый и левый фланги, возникла критика в Его адрес. Справа Юрий Кузнецов, поэт милостиво Божией, со свойственной ему медлительностью заворчал на Пушкина. Левый фланг в ответ возмутился — правый фланг молчал. В ворчании Кузнецова была, на мой взгляд, естественная для самостоятельного поэтического характера попытка утверждения через отрицание. Но никто почему-то не вспомнил этого литературного приема, которым Лев Толстой пользовался при оценке Вильяма Шекспира.

Недавно на левом фланге и прозаика Андрея Сняжковского — Абрама Терца обрушился справа шквал негодования за его книгу «Прогулки с Пушкиным», где он позволил себе довести тот же прием утверждения через отрицание до форм гротеска. Левые кинулись защищать. Прочитав «Прогулки» целиком, а не в послепоздней журнальной публикации, я увидела на последней странице место написания: Дубровлаг. Это слово многое объясняет: человек писал книгу в тюрьме, в атмосфере, трудно представимой тому, кто там не бывал. Человек пытался выжить с помощью Пушкина, посредством того самого шаткого, плохо понятного всем и каждому литературного приема.

Что же получается? Правому Кузнецову, по мнению левых, нельзя то, что можно левому Сняжковскому-Терцу?

Левому Сняжковскому-Терцу, по мнению правых, нельзя то, что можно правому Кузнецову?

Да в качестве помощника, спасителя, если хотите, лакмусовой бумажки, калитатора нравственно-этических процессов общества.

Так что же происходит с Пушкиным???

Ровным счетом ничего. Нечто знаменательное происходит с обществом, где «Пушкин — наше все».

Разобщенные, раздерганые, дисгармоничные люди, вчера осудившие любое насилие, а сегодня готовые совершать любое насилие, пытаются найти точку опоры и оправдание поступкам, натягивают на себя, не вникая в суть, то религиозную форму, то имя и дело тени. Как безразмерные чулки. И легкомысленно уверены, что «чулки» легко натягиваются.

Не хватает нам собственных сил и собственных прозрений, а значит, мы — слабые люди и не достойны лучшей участи.

Дух Пушкина, однако, на нас не в обиде. Он даже позволяет трепать свое доброе имя, как трепали Его при жизни и после смерти, которой, в сущности, не было. Разрешает нападать. Почему? Хочется помочь человечеству разобраться в себе.

Хочет помочь, а мы не понимаем. Не слышим Его. Наш слух заглушен собственной разносторонностью.

Самое лучшее, что мы могли бы сделать для Него сегодня, — это попробовать разболтать.

Умолкнуть на время со сласловесиями и сквернословиями. Не уповать. Он бы тем временем отдохнул от нашего внимания и, глядясь, свернул бы вневапной, непредсказуемой гранью, коих у Него бесчисленное множество. Открыл бы некую тайну своему прямому поэтическому потомку, чье пришествие, мне кажется, не за горами.

Разболтать... Но как разболтать?

Лариса ВАСИЛЬЕВА



Свободу Пушкину!

Я в Париже, Я начал жить, а не дышать.

Эпиграф из Дмитрия и 1-й главе «Арапа Петра Великого»

В ОТ УЖЕ почти два века мы прерываем Пушкина в груди, полагая, что возводим ему памятник по его же проекту. Выходит, он же преподносит нам единственный опыт зрелого существования. По Пушкину можно судить — мы ему доверяем.

Расчитываясь с ним, мы отвели ему первое место во всем том, чему не просоответствовали сами. Он не только первый наш поэт, но и первый прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лирист, лингвист, спортсмен, любовник, друг... В этом же ряду Пушкина — первый наш невольный.

Тема «Пушкин и заграница» достаточно обширна, но и очевидна, чтобы долгим текстом отнимать здесь площадь у свободного рисунка. Достаточно сказать, что Пушкин много раз хотел за границу и столько же раз его не пустили.

Еще в 20-м году молодой Тютчев живо обсуждает с Погодиным слух о том, что Пушкин бежал в Грецию. Это и тогда было неудивительно.

В 1824-м, уже в Михайловском, Пушкин пробует и так и иначе переменить участь: изобретает себе «аневризм», который лечат лишь в Германии. Получив окончательный отказ, болезнь тут же проходит. Желание не проходит.

«Плетнее поручил мне сказать тебе, что он думает, что Пушкин хочет иметь пятнадцать тысяч, чтобы иметь способы БЕЖАТЬ с нами в Америку или Грецию. Сведетвенно, не надо их доставать ему» (А. А. Воейкова — В. А. Жуковскому).

Желание увидеть Европу перерастает в страсть хотя бы пересечь границу. Ему уже все равно, что в Париж, что в Китай.

Поедем, и готов: куда бы вы, друзья, куда б ни звали,а, готов за вами я. Посюду следовать, надменной убогая: И подиюню ль стены далекого Китая, В кипищих ли-Париж, туда ли, наконец.

Где Тасса не поет уже ночной гробец, Где древний городок под пеплом дремлет мощи, Где кипарисные благоухают роши, Посюду я готов, Поедем...

Но и в Китай не пустили. Как всякий дворянин, он может покорить Россию, но дарь будет «огорчен». Огорчение это дорогого стоит... Пушкин отправляется в «самоволку» — Грузия единственная доступная в России заграница.

«Лошадь моя была готова. Я поехал в проводником. Утро было прекрасно. Солнце сияло. Мы ехали по широкому луку, по густой зеленой траве, орошенной росой и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала река, через которую должны мы были переправиться. — Вот и Арпачай, — сказала мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арпачая. Я поспекала к реке с чувством неизлечимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были мною любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь, кончаящую скитаньем по Юру, то по Северу, и никогда еще не вырвался из пределов необъятной России. Я всею вехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России».

Удивительным образом фантазия авантюрного побеге каждый раз совпадает с творческим кризисом, предшествующим творческому же взрыву. Не вышло уехать и — «Голдун!» Не вышло еще раз и — «Болдинская осень».

«Европеет» Брюллов: «Вскоре после моего возвращения в

Петербург, вечером, ко мне пришел Пушкин и начал мне читать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отказывался, но он меня переплюнул и уткнулся собою. Дети его уже спали. Он их будил и выносил ко мне поближе на диване. Это не шло к нему, было зрительно и писало передо мною картину натянутого семейного счастья. Я не терпел и спросил его: «ка кой чорт ты женился?» Он мне отвечал: «Я хотел ехать за границу, а меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился».

А вот французский литератор, гостивший в Петербурге летом 1836-го: «Пушкин никогда не бывал за границей. В разговоре с каким-то страдальцем во взгляде упоминал он о Лондоне и в особенности о Париже! С каким жаром отзывался он об удовольствии посетить знаменитых людей, великих ораторов, великих писателей».

Причем пишется это уже в некрологе Пушкину в том самом Париже, в котором ему теперь никогда не быть.

Неудивительно, мы часто, не академически, а по-человечески думаем: что было бы, если бы Пушкин не погиб в 37-м?..

Что бы он написал?.. Как шла бы посейчас жизнь дальше, если бы в Париже бы присутствовал Александр Сергеевич? А зловорья в нем было лет на девяносто, до конца века.

Что было бы, если бы... Если бы Пушкин увидел Париж и Рим, Лондон и Вену... Что было бы, если бы и они увидели его?

«Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как завсегдний фигура и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то поводя их в лоток. Разговоры его с Делли, Корнейки и Декартотой не были бы пошлыми и изысканным пистославием; а в обществе черпа бы он роль еми приличию, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека».

Что было бы, если бы... Хорошо бы было. Я попросил Резо Габриадзе выдать Пушкину визу. Он сделал это тут же и без промедления.

Андрей БИТОВ

Этот текст написан Андреем Битовым для альбома рисунков Резо Габриадзе «Пушкин за границей» (книгопечатня «Синтаксис», Париж). Воспроизводим часть рисунков первого выпуска — «Пушкин в Испании».



ИДЕАЛ

Вряд ли еще в какой-нибудь стране мира огромная масса людей, живущих в этой стране, любит своего давно умершего великого соотечественника так, как мы любим Пушкина. То, что мы почитаем его, это не удивительно. Самым великим на все времена англичанином называют Шекспира, итальянцы то же самое скажут о Данте, немцы — о Гёте. У России не было и, вероятно, не будет более всеобъемлющего, более совершенного, более гармоничного поэта, чем Пушкин. — как же нам не почитать его, не благоговеть перед ним?

Но Пушкин для всей России не только камей великий, но и самый любимый. И наша любовь к нему больше, теплее, живее, таинственней почитания и благоговения. Отважусь сказать, что наша любовь к Пушкину является одной из черт нашего национального характера. Мы чуть ли не рождаемся на свет Божий уже с этой любовью, непонятной и странной для иностранца. В этой всеобщей, всенародной любви присутствует и нечто очень личное, заветное, интимное. Так любят живых и близких. Для нас Пушкин не только недостижимый идеал писателя, поэта, художника, творца, не только великая и прекрасная духовная личность, великий за всех нас мыслитель и чувствитель, и удавитель, и называтель, но и желанный собеседник, равный и добрый друг, верный спутник, надежный советчик, бесконечно и неизменно родной и единственный — «любить нных тяжелей крест». Бывает любовь нераздвоенная и — напрасная, бывает любовь трудная, мучительная, больная, темная. Любовь Пушкина легко и сладостно. Имя его, прекрасный и светлый пушкинский облик несомненно с мучительностью и тягестью. Любовь к Пушкину завелом исключает нераздвоенность и разочарование. Ну да, «прекрасное должно быть величавым», и многие стихи Пушкина отмечены Божественной величавостью, чудесным, впрочем, образом сочетающейся с Божественной же легкостью, но в самом Пушкине, живом и подвижном, любовном и смиренном, вдохновенном и простодушном, нет ни капли отталкивающего и холодного величия, ни капли олимпийского высокомерия. Он бесконечно добр и дароснен, он без конца дарит и, единственный на свете, ничего не требует взамен.

Я никогда не забуду, как лет 20 назад мы с любимой перечитывали «Евгения Онегина». Незадолго до этого я пережил самое страшное время в своей жизни, был близок к помешательству или смерти. Она, любимая, вошла в мою жизнь и спасла ее. Мы тогда много читали стихов, и, конечно, больше всего Пушкина. И вот решили перечитать «Онегина». Мы читали друг другу вслух, задыхаясь и плача от восторга и счастья, от этих невозможных прекрасных стихов, читали по главе в день, и Господи, какой это был праздник души, праздник любви и поэзии! Ведь там все сказано, все о нас, все о России, все о мире и жизни. Все, как больше чиним, как больше ни у кого. Как он это мог? Как мог совместить безукоризненную, безсомнительную правду с нимем более неспешной Божественной простотой, не могу сказать иначе — с Божественной красотой. Как он мог из прозы, из прозы обильности, быта, очевидности, сделать поэзию, сияющую и льющуюся на нас с каких-то непостижимых духовных высот? И это был не вымысел, не искажение, но преображение — тайна, чудо. Чудотворец, он и нас приближал к вечности и бессмертию. Вот почему именно он Божествен — единственный в русской истории, он — один. В мире таким еще был Моцарт. Других я не знаю, после Пушкина одним из самых любимых русских писателей у меня был Лев Толстой. После Пушкина самый великий и самый любимый. Но я никогда не назову его Божественным. Он — человек, гений, духовный богатырь, человечиче. Но и только, но и все. А Пушкин небесен, Пушкин Божествен. Я люблю его и люблюсь им. Он прекрасен и добр, и любить его, любоваться им — добро и счастье.

Пытаясь как-то охладить мою восторженность, мне говорят о слабостях и проступках Пушкина. И все одно и то же: известная непочтительная фраза об Анне Керн в дружеском письме, кощунственная «Гаврииллада», стансы Николаю, два стихотворения о польском восстании. Вот как будто и все. Нам бы всем тание грехи и вины. А я и эти грехи считаю прекрасными и любовью ими, не потому что их разделяю или сочувствую им, а потому что он не мог иначе, он же Пушкин, а не кто-нибудь другой. У него такой путь, такая судьба. В нем же африканская кровь и русская душа — взрывает смесь. Да и так ли уж смертельно кощунственна «Гаврииллада»? Я иногда перечитываю ее, и всегда с доброй и нежной улыбкой. По-моему, чувственность и эротизм этой юной поэмы овоздущены, одухотворены изощренным и влюбленностью, да и не мог он иначе, с его добротой и любовью к прекрасному и высокому. И слава Богу, он не святой, он земной, как все мы. Потому для меня он и Божествен, что он человек, что он с людьми, с нами, так же слаб, так же грешен. Всем нам брат, «всем живущим прижизненный друг», по слову Мандельштама. Со всеми грехами, со всеми провинностями в каждой строчке, в каждом поступке он для меня воплощение любви и подлинности, добра и света. Не было на русской земле за всю ее историю человека лучше и прекраснее, чем Пушкин. И в трудную и в страшную годину, если мы не спасемся Пушкиным, мы ничем не спасемся.

Борис ЧИЧИБАЕВИЧ